

Отец, насколько знаю, сильно пил, поэтому частенько бил мою мать. Наутро, утверждая, что ничего не помнит, извинялся со слезой, божился, что подобного больше не повторится, падал на колени, чтобы вымолить с прощением немного мелочи на опохмел.

Сейчас я понимаю, до чего сильно его гены живут во мне, развиваются, управляют мной, как много схожего с отцом проявляется в моём характере. Сцены, часто повторяющиеся в детстве, я вижу смутно, словно уже тогда учился отгораживаться от всего жестокого и нелицеприятного, зато хорошо помню, как ни стараюсь вывернуться, то состояние беспредельного ужаса, которое разрывало иногда меня изнутри.

Ещё в тот день, когда жених перед свадьбой крепко напился, молодой жене присмотреться бы, чтобы понять отправную и уже отвратную точку отсчёта. Или окажись рядом тот, кто сбросил бы дурной глаз. И ведь они находились вблизи. Приглушённые

голоса. Тени, ускользающие в никуда, исчезающие во тьме... И помимо них, в период свиданий и сватовства, ведь были случаи и прежде предостерегающие. Когда, готовясь к какому-то празднику, каких много в деревне, два брата отправились на птицеферму. Вернулись, впрочем, без жертвенных созданий, ни живых, ни мёртвых, за которыми и отправились шестью часами ранее; оба, твёрдо стоящие на двух ногах (по одной на брата), шатающиеся, поддерживающие друг друга, плачущие и причитающие. Позже говорили, что напились с радости.

История повторилась перед свадьбой моей старшей сестры. Но здесь причина была более очевидной: отцовская рука с топором дрогнула над шеей гуся (он впервые выступал в роли гусяного палача), и, не выдержав, отец разрыдался.

«Жалько», — проговорил он, а я повторил. И со временем постоянно повторял, по-детски, то надрывно выкрикивая, с вызовом скидывая взгляд вверх, то, словно бы потупившись, шёпотом. Это легко списывалось на мой возраст. Когда видел отца пьяного, когда играл с детьми, когда разговаривал с друзьями, когда мама поворачивалась спиной и не слышала моих слов. Я часто смягчал это слово. «Жалько» говорил, когда не понимал, что именно и кого именно мне жалко. Слово немощности и оправдания. Слово-паразитёныш!

Помнится, всех гусей, семейных или восьмерых, «казнил»

тогда для свадебного стола то ли сосед, то ли родственник. Почему разрыдался отец? От презрения к своей слабости, от действительной жалости к животным? Вряд ли я это понимал тогда.

Отцовская деревня, в которой мы жили, была патриархальной: позором для мужчины было принести ведро воды из колодца, вытрусить дорожки вместе с женой. Семья отца считалась в деревне состоятельной. Зато они экономили каждую копейку, большая часть из которой, как оказалось, уходила на пропой. Об утюге и телевизоре даже речи идти не могло. Баллоны с газом, стоявшие в погребе, как снаряды, заготовленные на случай войны, ожидали праздника. Жалко, что в день свадьбы моего отца и мамы они не взорвались...

Когда же моя мама оказалась в их доме, трудно назвать удивлением то, что она увидела и почувствовала. Средневековый быт, двор с разбитым асфальтом, куски которого смешивались с грязью и птичьим помётом, одна выходная пара калош; замызганные племянники и племянницы, не выдавшие по неделям чистых колготок и рубашек и оттого бегающие всюду гольшом; тусклый свет окон, мучительно пробивающийся сквозь синие сумерки занавески.

Свекровь, имитирующая приступы удушья, связанные с неизвестной болезнью, обнаруживала в себе невероятную силу для возмущения, когда на следующий день все кипяильники и котлы, найденные в доме, сговорились

в очистительном союзе с водой. Мама не могла позволить ухоженной дочери замараться. Остальные дети, более неприхотливые, восприняли столь редкую процедуру очень болезненно. Оказалось, они могут кричать, истерить и топтать нервно ногами по полу. Кипятильники исчезли к утру. Мальшняя, довольная вчерашним ванным днём, узнавшая характер недавно прибывшей родственницы, по её же приказу, кинулась врассыпную в поисках дров.

Когда родители, наконец, переехали в город, своеобразная родовая прижимистость проявила себя ещё больше. Первый год муж даже не приносил зарплаты домой. Его мать, моя бабка, только отшучивалась: «Сколько там стоит тарелка борща!». По поводу того, что он много пропивал, добавляла: «Пьяный проспится, а дурак никогда». Или: «Мужиков должно быть жалко».

Как меня воспитывал отец... Ревность к матери. Битые стёкла на полу... Как меня он обучал?

В памяти всплывает рассказанное мамой. Приготовленный борщ съедали, а варёную жирную курицу оставляли до следующего раза. (Как и где она сохранялась, трудно предположить). Но только к третьему разу её, безвкусную и ватную, как бумага, позволялось есть.

После свадьбы моей сестры, как это ни странно, осталось несколько ящиков водки. Многие соседи, зная об этом, стали заходить в гости. «Пейте, не

жалко», — говорила мама. — «Не жалко», — вторил я. Её задумчивый взгляд на меня в подобных случаях оставался за пределами моего внимания. (Наблюдательность притуплялась то ли отцовским присутствием, то ли генной чувью). Постепенно эта материнская фраза становилась более жёсткой: надо было как-то жить. Вскоре мама стала продавать водку. Полученная прибыль пускалась в оборот. Потом она часто повторяла: «Грех совершаю». И её взор, пристальный и задумчивый, вновь останавливался на мне. Семей, подобной нашей, где всё ложилось на плечи женщины из-за вечного похмельного синдрома мужчин, у нас во дворе, на улице, в городе было много. Сколько таких отцов, как мой, приходили к нам, затем стали появляться их подрастающие сыновья и позже, всё чаще, жёны и дочери! Отговорка «если не продам, к другим пойдут», — утешала слабо. Мы жили за счёт этой отговорки. Появилась тетрадошка, куда аккуратно вписывались долги страждущих. Я рос.

Но алкоголь имел не только денежный эквивалент. Иногда он являлся замечательным бартером. Приносили тряпки, сахар, крупу. Оставляли в заклад паспорта. Однажды соседка принесла на обмен гуся, замороженного до синевы. Завертевшись в домашних хлопотах мама бросила: «Отруби ему голову». Я и пошёл. Что это было? Воспитательная мера или дикая усталость от жизни — до

равнодушия? Как ей было меня не жалко?

Спускаясь по ступенькам подъезда, я почти гордился, что, наконец-то, мне доверено взрослое мужское дело. Представляю, как я комично выглядел, держа в одной руке ведро с топором, бряцающим внутри, в другой — мешок со слабо трепыхавшимся, несчастным гусём. Такого рода торжественное сошествие никак не могло соответствовать моему субтильному внешнему виду и привычкам. Я до сих пор не умею вбить гвоздя, чтобы не попасть молотком по пальцам, путаю щипцы с плоскогубцами. Когда дворовые мальчишки на спор распознавали марки автомобилей, я молчал; когда играли в футбол или собирались на рыбалку, я уходил в сторону. Я уже не говорю о рассказах, глумливо-пугливых, о странном устройстве женского тела. Никогда ни с кем во дворе или за его пределами я не дрался. (Или вру?). Самое удивительное, что мои ровесники как будто понимали меня и никогда не называли слабаком или трусом.

Выйдя из подъезда, я стал осматривать орудие убийства. Раньше топор казался мне невероятно большим и острым. Теперь же в моих руках находился небольшой, ненаточный топорик, годный разве на то, чтобы рубить сучья для туристского костра. Подойдя к тому самому пню, где лет семь назад произошла казнь гусей к свадебному столу моей сестры,

я остановился, достал из мешка жертву алкоголизма и нужды.

Что-то вроде стыда и страха неожиданно стало подыматься во мне. Что-то совершенно ненужное для этой задачи вклинивалось в голову. Жалко птицу. Но я не позволил себе дорассуждать и почувствовать: мне поручили мужское дело. Не имея опыта, я не понимал, что такого рода орудие убийства неминуемо превратится в орудие пытки. И неизвестно для кого больше: для палача или жертвы. Я взмахнул раз — промахнулся, угол лезвия неглубоко ушёл в пень, разбросав мелкий сор по сторонам, второй раз — только шею сломал, третий — разбил клюв, и продолжал дальше, не думая, удары уже наносились вслепую; раздражение росло на неопытную руку, на тупой топор, на неподатливую птицу, на неуклюжего отца, на непонятое детство, я бил, бил и бил; кровь брызнула — так... на... до! Голова вяло оторвалась и упала возле пня. Собаки, лежащие поблизости, навострили уши на лакомый подарок.

Моих сил осталось только на то, чтобы безжизненную тушку с обломанной шеей бросить в ведро. Затем, как показалось, я стоял вечность на коленях, закрыв лицо руками, не испытывая, кроме тоски и стыда, ни гордости, ни самодовольства; и не было слёз. Только с тех пор я стал по-настоящему различать, когда мне именно «жалко», а когда «жалко».